

Хайдеггер Мартин

Язык.

Мы говорим наяву и в мечтах. Мы говорим постоянно, даже тогда, когда не произносим никаких слов, а только слушаем или читаем, и даже тогда, когда не слушаем и не читаем, а занимаемся работой или отдыхаем. Мы каким-нибудь способом постоянно говорим. Говорим потому, что говорение естественно для нас. Оно происходит не только по какому-то особенному желанию. Человек имеет язык от природы. Существует учение, что в отличие от животных и растений человек является говорящим существом. Сказанное не следует понимать так, что наряду с другими способностями человек может говорить. Утверждается, что только язык делает человека таким существом, как человек. Только как говорящий человек – это человек. Так считал Гумбольдт. Но необходимо продумать, что это значит: человек.

Во всяком случае, язык составляет ближайшее окружение человеческого существа. Повсюду встречается язык. Поэтому неудивительно, что человек, задумав всмотреться в то, что есть, попадает к языку для того, чтобы удовлетворительным образом определить то, что ему видится. Поэтому размышляющий пытается составить представление о том, что есть язык вообще. Всеобщее, значимое для любого языка называют сущностью. Представить общепринятое как всеобщее – это, согласно господствующему мнению, основной ход мышления. Мыслить язык – это значит: дать представление о сущности языка и тем самым основательно отделить его от других представлений. Именно этому, как кажется, и посвящен данный доклад. Но ведь название его не звучит: о сущности языка. Оно только гласит: язык. "Только", – говорим мы и приставляем это к слишком самонадеянному названию нашего замысла, будто собираемся довольствоваться скромным сообщением о языке. Однако говорить о языке, вероятно, еще хуже, чем писать о молчании. Мы не собираемся приступить к языку с целью втиснуть его в рамки готовых представлений.

3

Мы не хотим свести сущность языка к понятиям" или поставить всюду пригодное возврение, обосновывающее все представления о языке.

Обсуждать язык – значит не столько его, сколько нас самих привести к местопребыванию его сущности: собраться в событие. Сам язык, и только его можем мы по-мыслить. Язык есть; язык, и ничего кроме него. Язык есть язык. Логически вышколенный, все рассчитывающий и потому весьма надменный рассудок назовет эти положения ничего не значащей тавтологией. Дважды повторено одно и то же: язык есть язык; как это может способствовать продвижению дальше? Но мы и не хотим уходить дальше. Ведь мы можем оставаться там, где пребываем. Поэтому задумаемся: как обстоит дело с самим языком? Поэтому спросим: как пребывает язык как язык? И ответим: язык говорит!. Но что, это серьезный ответ? Если так, то надо выявить, что значит говорить.

Захотеть помыслить язык – это значит вступить в говор языка, для того чтобы пребывать при языке, т.е. быть при его, а не при своем говорении. Только так достигнем мы сферы, внутри которой, удачно или нет, язык проговорит нам свою сущность. Язык мы уступаем говору. Мы не можем ни обосновать язык чем-то другим, нежели он сам, ни объяснить другое языком.

10 августа 1784 г. Гаман писал Гердеру (Hamanns Schriften, Ed. Roth VII, S.151 f.):

"Если бы я был столь же красноречив, как Демосфен, то не смог бы большего, чем трижды, повторить: разум – это язык, логос. Этому я верен до мозга костей и буду верен до смерти. И все же в глубине своей он остается чем-то темным для меня; я как бы жду апокалиптического ангела с ключами от этой бездны".

Бездна открывается Гаману в результате осознания того, что разум – это язык. Пытаясь ответить на вопрос, что есть разум, Гаман приходит обратно к языку. Взгляд на него проваливается в бездну. Происходит ли это потому, что разум поконится на языке, или потому, что язык и есть бездна? О бездне мы говорим тогда, когда почва или отсутствует, или уходит из-под ног в поисках основания. Этим не спрашиваем мы, что

4

такое разум, а лишь стремимся задуматься о языке, взяв в качестве ориентира странное положение: язык есть язык. Это положение не отсылает нас к чему-то иному, на чем основывается язык. Оно ничего не говорит о том, является или нет сам язык основой для чего-то иного. Положение: язык есть язык позволяет нам парить над бездной до тех пор, пока мы стоим при то, что он говорит.

Язык есть: язык. Язык говорит. Если мы будем погружаться в бездну, которую вызывает данное положение, то не упадем в пустоту. Мы парим в высоте. В ней открывается глубина. То и другое просматривается с того места, которое мы обживаем в поисках пребывания сущности человека.

Помыслить язык – это значит: найти такой тон в говоре языка, чтобы в нем нашлось прибежище для исполнения сущности смертных.

Что значит говорить? Расхожее мнение это представляет так: разговор это занятие производством звучания и слушания. Разговор – это звуковое сообщение и выражение человеческих переживаний. Такова основная мысль, из которой следуют "три характеристики языка".

Во-первых, и прежде всего, язык есть выражение. Представление о языке как выражении наиболее распространено. В нем предполагается наличие внутреннего, которое выражается. Если язык рассматривается как выражение, то он представляется выразительно, и именно в том случае, когда выражение объясняется ссылкой на внутреннее.

Во-вторых, понимается язык как человеческая деятельность. Поэтому и утверждается: человек говорит и он говорит языком. Поэтому нельзя сказать: язык говорит; так как это значило бы: только язык создает и задает человека. Этим допускалось бы, что человек – говоритель языка.

В-третьих, производимые человеком выражения всегда есть представления и изображения действительного и недействительного.

Издавна знают, что приводимые характеристики недостаточны для того, чтобы ограничить сущность языка. В том случае,

5

если это каким-то образом все-таки удается, она получает столь широкое определение, что выражение встраивается в общую картину человеческих действий как одна из форм деятельности, в ходе которых человек производит сам себя.

Характеристике языка, как человеческой деятельности, противопоставляется учение о божественном происхождении слов языка. Согласно началу пролога Евангелия от Иоанна, вначале слово было у бога. Но от оков рационально-логического объяснения необходимо освободить не только вопрос о происхождении языка, требуется прежде всего освободиться от логически ограниченного описания языка. Против характеристики значения слов исключительно как понятий на передний план выдвигается образно-символический характер языка. Биология и философская антропология, социология и психопатология, теология и поэтика предпринимают серьезные усилия для полного описания и объяснения языковых явлений.

Для этого к изучению привлекаются идущие из древности способы употребления языка. Это объясняется тем, что грамматически-логические, а также философские и научные представления о языке за два с половиной тысячелетия остались неизменными, хотя при этом знания о языке расширялось и изменялись. Эти факты можно было бы привести для доказательства непоколебимости ведущих представлений о языке. Никто не осмелился бы объявить неправильной или даже отбросить как ненужную характеристику языка как звуковое выражение внутренних переживаний, как человеческую

Хайдеггер Мартин Язык filosoff.org
деятельность или образно-понятийное отражение. Приведенное рассмотрение языка правильно; оно направляется тем, что воспроизводится самим анализом языковых явлений во все времена. Именно в круге этого правящего возникают все те вопросы, которыми сопровождаются описания и объяснения языковых явлений.

И все же слишком мало мы размышляем о странной роли этих правильных представлений языка. Они задают как нечто несомненное везде и всюду, спектр разнородных научных способов анализа языка. Они возвращают к старым традициям. Но при этом они полностью пренебрегают древними отпечатками сущности языка.

6

Поэтому, несмотря на свою традиционность и понятность, они никогда ни смогут привести к языку как языку.

Язык говорит. Как обстоит дело с его говором? Где мы его находим? Наиболее близко в самом разговоре. Именно в нем полностью осуществляется язык. В разговоре язык не прекращается. В разговоре язык укрывается. В разговоре собирает язык способ, каким он пребывает и то, что в нем пребывает - его пребывание, его сущность. Но преимущественно и чаще всего противостоит нам разговор только как прошлое языка.

Если мы с самого начала станем искать говор языка в разговоре, то поступим лучше, ориентируясь на чистый говор, чем подхватывая любой разговор. Чистый говор есть нечто такое, в чем происходит завершение языка, который подобает разговору. Чистый говор - это поэзия. Это положение мы должны поставить как точное утверждение. Мы это сможем сделать, если удастся услышать чистый говор в поэзии. Но о какой поэзии мы говорим? Нам здесь предоставлен выбор, который все-таки защищен от чистого произвола. Почему? Благодаря тому, которое осмыслено нами как сущее языка в ходе раздумывания о говоре языка. Их Связность мы и считаем чистым говором поэзии, которая лучше, чем что-либо другое, поможет нам на первых порах постичь связанное этой связью. Мы слышим говор. Стихи носят название:

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Если снег за окном идет,
К вечерней колокол сзывает,
У многих стол уже сияет
И дом в порядок приведен.
Иной странствовать уходит
За дверь на темную стезю.
Там золотятся деревья милостью
Из земли сочащегося духа.
Странник тихо ступает
Болью окаменел порог.
Тут в сверкающем чертоге
На столе вино и хлеб.

7

Две последних строчки второй строфы и третья строфа в первой редакции звучали так (письмо Карлу Краусу от 13.12. 1913):

Из раны, исполненной благодати,
Исходит кроткая сила любви.

Хайдеггер Мартин Язык filosoff.org
О, человек, одинокий в горе.

С безмолвным ангелом обнявшись,
Протяни, святой скорби исполнившись.
Молча хлеб и вино богу

(Ср. новое издание Курта Хорвитца стихов Г.Тракля, 1946.)

Стихи сложены Георгом Траклем. Что именно он поэт, является неважным; просто здесь, как и в других счастливейших случаях, имеет место поэзия. Высочайшая удача состоит именно в том, что она не связана с личностью и именем поэта.

Стихотворение оформлено в трех строфах. Его размер и рифмы точно соответствуют схемам метрики и поэтики. Содержание стихотворения понятно. Нет ни одного слова, которое, будучи взятым само по себе, оставалось бы незнакомым или непонятным. Правда, в некоторых строчках звучит нечто странное, например, в третьей и четвертой строфы:

Золотом цветут деревья милостью

Из земли струящегося сока.

В равной степени поразительна вторая строчка третьей строфы:

Болью окаменел порог.

Но эти вышеприведенные строчки демонстрируют особенную красоту употребляемых образов. Их красота усиливает прелест стиха и увеличивает степень эстетической завершенности образов искусства.

Стихи описывают зимний вечер. Первая строфа изображает, что происходит снаружи: снегопад и звон вечернего колокола.

Внешнее соприкасается с внутренним, с человеческим жильем.

8

Снег валит за окном. Колокол звучит в каждом доме. Внутри все хорошо обставлено и накрыт стол.

Вторая строфа задает противоположное. В отличие от многих, которые домовничают за столом, некоторые бездомные странствуют по темным тропам. Но пути, и даже опасные, все же приводят к воротам безопасного дома. Правда, последний здесь прямо не представлен. Вместо него стихотворение называет дерево милости.

Третья строфа приглашает странника из темного снаружи внутрь зала. Дом многих и стол с повседневной трапезой превращаются в храм и алтарь.

Все более отчетливо разделяя содержание стиха, все более точно ограничивая его форму, мы постоянно вращаемся в ходе таких операций в кругу господствующих тысячелетиями представлений о языке. Согласно им язык является выражением внутренних страстией человека или руководящего им мировоззрения. Можно ли разрушить этот сложившийся круг представлений о языке? Но почему его следует разрушить? Язык по своей сути не выражение и не деятельность человека. Язык говорит. Мы здесь ищем говор языка в поэзии. Именно поэтому обращены наши поиски к поэтическому говорению.

"Зимний вечер" звучит название стиха. И мы ожидаем описания зимнего вечера, как он есть в действительности. Но все же стих вовсе не представляет где-либо и когда-либо существующий зимний вечер. Он не изображает ни уже присутствующее, ни отсутствующее явление зимнего вечера и не впечатление от него. Естественно нет, могут возразить. Все в мире знают, что стихи - это поэзия. Ведь она сочиняет даже там и тогда, где и когда кажется, что она описывает. Сочиняя, поэт преображает возможное присутствующее в его присутствии. Сочинением поэт воображает прообразы наших представлений. В говорящей поэзии высказывается поэтическая способность воображения. Говор поэзии есть то, что выговаривается поэтом. Это выговаривание говорит

выговариванием его содержания. Язык поэзии – это разнообразное выговаривание. Язык бесспорно оказывается выражением. Но это оказавшееся противоречит положению: язык говорит

9

предполагающему, что говор по своей сути не есть выражение.

Даже если мы здесь понимаем говор поэзии поэтом, то все равно при всех принуждениях окажется говор лишь выговариванием произносимого. Язык – это выражение. Почему мы не удовлетворяемся такой констатацией? Потому, что правильность и принятость этого представления о языке недостаточна для того, чтобы разобраться в его сущности. Но как мы измеряем эту недостаточность? Разве нам, чтобы такое измерение было возможно, не придется искать внешний масштаб? Разумеется. И он содержится в положении: язык говорит. Ранее это положение защищало от закостенелого предрассудка отодвигать разговор на проявление выражений вместо того, чтобы мыслить его самого. Сказанное поэзией выбирается потому, что в ней далее необъяснимым образом находит верный знак разрешение попытки: разобраться с языком.

Язык говорит. И это означает одновременно: язык говорит. Язык? А не человек? Не вызывает ли раздражения это утверждение? Не сомневаемся ли мы, что именно человек является говорящим существом? Ни в коем случае. Мы отрицаем все это столь же мало, как и возможность подтверждения явлений языка под рубрику "выражение". Мы только спрашиваем: насколько говорит человек? Мы спрашиваем: что значит говорить?

Если снег за окнами валит,

Протяжно колокол звонит.

Сказанное называет снег, который, беззвучно падая за окнами, покрывает поздний, завершающийся день. Снегопад как бы замедляет длительность длящегося. Поэтому вечерний колокол, который выдерживает строго определенные периоды, звучит как бы замедленно. Сказанное газывает вечерние сумерки. Что значит это название? Привлекает оно только представляемые привычные предметы и процессы: снег, колокол, окно, падать, звучать, связанные со словами языка? Нет. Название не раздает наименования, не распределяет слова, но звучит в слове. Названное звучит, призывает. Названное приближает призванное. Но доставать близости призванного не значит приручить и этим ограничить его ближайшим кругом присутствующего.

10

Итак, призыв призывает. Этим приближает он присутствие прежде непризванного. И одновременно, тем что призыв призывает, он призывает уже призванное. Куда? В даль, где призванное пребывает как отсутствующее.

Призыв зовет в близкое. Но зов² одновременно не отрывает призванное от далекого, которое сохраняется благодаря призыву. Зов зовет к себе, зовет туда и сюда; сюда: в присутствие; туда: в отсутствие. Снегопад и звон вечернего колокола здесь и теперь обращены в стихотворении к нам. Они присутствуют в призывае. Но и позади здесь, и теперь они ни в коем случае не попадают в этот зал присутствующего. Какое же присутствие выше, наличествующее или призванное?

Многие стол готовят

И дом прибирают.

Эти строки гласят как высказывания, констатирующие положение дел. Решительное утверждение звучит в них. Но это звучит зовущее. Строки ведут накрытый стол и убранный дом в присутствие за-крытого отсутствия.

Что звучит в первой строке? В ней звучат вещи, которые она называет. Как? Не как присутствующее среди присутствующего, не стол, названный в стихотворении среди других вещей. Место прибытия, названное в зове, есть присутствие, таящееся в отсутствии. В такое прибытие зовет именующий зов. Название – это приглашение. Названная вещь становится вещью людей. Падающий снег приглашает человека под ночное небо. Звон вечернего колокола приглашает смертных к божествам. Дом и стол связывает смертных на земле.

Названные вещи собирают, зовут небо и землю, смертных и божества. Четыре изначально едины друг в друге. Вещи пребывают средокрестием четырех. Это собирающее пребывание есть вещь вещей. Мы называем пребывающее как вещь вещей средокрестие земли и неба, смертных и божеств: миром. В названии вещи взывают к своей вещности. Вещая, они раскрывают мир, в котором пребывают Вещи и который пребывает в них. Вещая, вещи несут мир. В старом немецком языке несение, ведение называлось хранением. Вещая, вещи является вещами. Вещая, они хранят мир.

11

Первая строфа зовет вещи к вещам. Название, зовущее вещи, зовет, приглашает их и одновременно призывает к вещам, преклоняет перед миром, из которого они появились. Поэтому первая строфа зовет не просто вещи. Она зовет одновременно мир. Она вызывает "многих", которые, будучи смертными, относятся к средокрестию мира. Вещи взывают смертным. Это значит: вещи помещают смертных в мир. Первая строфа говорит, вызывая вещи.

Вторая строфа говорит иной, чем первая, тональностью. Она тоже призывает. Но ее зов начинается зовом и названием смертных.

Иной в странствие...

Призваны не все смертные, не многие, а только некоторые: те, что странствуют по темным тропинкам. Для этих смертных умирать - это странствовать к концу. В кончине концентрируется высшая скрытность бытия. Кончина уже опережает смертных. Те, что "в странствии" могут найти на своих темных тропах дом и стол и не только прежде всего для себя, но и для многих; так как эти последние мнят: поскольку они обставляют дом и заседают за столом, постольку они пребывают в житии и весят вещами.

Вторая строфа начинает призывать к некоторым смертным. Хотя смертные с божествами, с землей и небом относятся к средокрестию мира, все же обе первые строки второй строфы собственно еще не зовут в мир. Больше того, называют они почти, как и первая строфа, только в другой последовательности, те же вещи: врата, темную тропу. Только две последние строчки второй строфы зовут собственно мир. Даже называют его по-иному:

Золотятся деревья милостью

Из земли сощающегося сока.

Дерево самородно растет из земли. Она рождает деревья, в которых открывается благодать неба. Рост дерева зовет. В нем смешивается дурман цветения и трезвящая прохлада сока.

12

Сохраняющее рост земли и жертва неба принадлежат друг другу. Поэт зовет деревьев милость. Ею посланные деревья дарят нежданную радость плодов: дарованное священным мило смертным. В золотом цветущих деревьях правят земля и небо, божества и смертные. Их средокрестие - есть мир. Слово "мир" употребляется здесь не в метафизическом смысле. Оно не зовет ни секуляризированно представленный универсум природы и истории, ни теологически представленное творение (*mundus*), ни даже целое присутствующего (????os).

Третья и четвертая строки второй строфы зовут деревьев милость. Они называют сам мир. Они призывают мир четверицы, и так призывают мир к вещам.

Строчка начинается словом "золотой". В этом слове мы ясно слышим его призыв, напоминающий стихотворение Пиндара (*Isthm. V.*). В начале этой поэмы поэт называет золото (????????? па????) обнаруживающим все (Па???) попадающее в круг присутствия его сияния. Блеск золота дает все присутствующее в неоткрытости своей явленности.

Так же, как призыв слова, призывает и вызывает вещи, так и сказание вызывает и призывает мир. Оно доверяет мир вещам и одновременно хранит вещи в сиянии мира. Последний покровительствует сущности вещей. Вещи хранят мир. Мир покрывает вещи.

Говоря первых двух строф говорят так, что призывают вещи к миру и мир к вещам. Оба эти способа называния различны, но неразделимы. Они не рядоположены друг с другом. Ибо вещи и мир не стоят рядом друг подле друга. Они проникают друг в друга. При этом меряются они серединой двоих. В этом их единство. Поскольку они едины, постольку они едины. Середина двух есть сердечность. Середина двух называется в нашем языке "между", в латинских языках говорят "интер", этому соответствует немецкое "унтер". Сердцевина мира и вещей не есть смесь. Сердечность правит там, где единение, мир и вещи остаются чистыми и различными. В середине двух, в промежутке мира и вещей в их "интер" и тем самым "унтер" правит раз-личие.

Сердечность мира и вещей состоит из разно-личного, является различием. Слово "различие" принимается в обычном смысле.

Но то, что называет слово "раз-личие" не есть родовое понятие для всяких видов различного. Названное словом "Раз-личие" берется как единое. Оно единит. Раз-личие содержит середину одного и другого, благодаря чему мир и вещи единят друг друга. Сердечность раз-личия как единящее (диафора) есть несущее доведения и единения. Различие доводит, приводит мир к его мирскости, вещи к их вещественности. Единясь, они доводятся друг до друга. Раз-личие предполагает не просто связывающую середину. Раз-личие опосредует серединой мир и вещи, доводит до их сущности, приводит друг к другу в единении единого.

Слово "раз-личие" не есть простая дистинкция, выражающая наше представление о предметах. Не является различие и отношением, наличествующим между миром и вещами и устанавливаемое представлением. Раз-личие не исчерпывается дополнительным определением его как связи мира и вещей. Раз-личие мира и вещей единит вещи в хранилище мира, единит мир как покров вещей.

Раз-личие – не дистинкция и не реляция. Раз-личие – высочайшая мера вещей и мира. Но это мера применима не для круга присутствия, в котором пребывает это или иное. Раз-личие постольку мера, поскольку соизмеряет мир и вещи в их самости. Такое измерение открывается только из- и кдруг-другу-бытием вещи и мира. Открываемость – есть род соизмерения обоих в различии. Раз-личие меряет сердцевину мира и вещи, задает меру их сущности. Название, которое зовет мир и вещь, есть собственно названное: различие.

Первая строфа называет вещи, которые таятся как вещный мир. Вторая строфа называет мир, который покрывает мирующие вещи. Третья строфа называет середину мира и вещи: бремя сердечности. Поэтому она начинается с подчеркнутого зова:

Странник ступает тихо.

Куда? Стих этого не говорит. Он зовет идущего странника в тишину. Она правит за дверью. Неожиданно и необычно звучит:

Болью окаменел порог.

14

Одноко гласит эта строка в целом стихотворении. Она называет боль. Почему? Какую? Стока гласит просто: боль... Откуда и куда призывает боль?

Болью окаменел порог.

"... окаменел ..." – это единственное в стихотворении слово, которое говорит в прошедшем времени. И вместе с тем оно не говорит о прошлом, которого уже больше нет. Порог пребывает в окаменелости своей ставшести.

Порог – перекрытие, несущее дверь. Он несет середину, в которой двое наружное и внутреннее переходят друг в друга. Порог несет середину. Своей одинокой надежностью он указывает на то, что находится между входящим и уходящим. Надежность средины значит не беспочвенность. Бремя средины требует выносливости и тем самым твердости. Порог несет бремя средины, и поэтому он окаменел болью. Камень пронизан болью не потому, что он застыл в пороге. Боль пребывает в пороге, как делящаяся боль.

Что такое боль? Боль разрывает. Она есть разрыв². Но она не расчленяет на
Страница 7

рядоположенные слои. Боль ломает, разъединяет друг друга, но так, что объединяет и влечет друг к другу. Ее ломота, как собирающее разведение, есть одновременно такое тянувшее, которое, как разрыв и призыв, размечает и собирает разделенное в различии. Боль – есть собирающее в различающе-объединяющей ломоте. Боль – это стык разрыва. Он – есть порог. Он носит средину, которая бывает между двумя различными. Боль сплачивает стык различия. Боль – это само раз-личие.

Болью окаменел порог.

Стих зовет различие, но не мыслит его в себе и не называет его сущность по имени. Стих зовет между-личие, объединяющую средину, в сердечности которой соизмеряют друг друга хранилище вещей и благость мира.

Не является ли боль сердцевиной различия мира и вещи? Разумеется. Только нельзя боль представить как ощущение, приносящее страдание в антропологическом смысле. Точно так

15

же нельзя психологически представлять сердечность как место, где гнездится чувствительность.

Болью окаменел порог.

Боль причиняет порогу его ноша. Различие пребывает как уже сбывшееся, откуда происходит бремя мира и вещи. В какой мере?

Здесь сверкает в чистом свете

на столе вино и хлеб.

Где сверкает чистый свет? На пороге, обремененном болью. Щель раз-личия сверкает чистым светом. Его лучащийся стык про-являет про-свет мира в его событии. Щель просвета пропускает мир в его мирах, который покрывает вещи. Благодаря явлению мира в его золотом блеске светятся также хлеб и вино. Вышеназванные вещи светятся в единости своей вещественности. Хлеб и вино – это плоды земли и неба, посланные смертным божествами. Хлеб и вино собираются при четырех из единости средокрестия. Названные вещи – хлеб и вино едины потому, что их сохранение в мире исполняется непосредственно милостью мира. Достаток таких вещей определяется тем, что они пребывают при средо-крестии мира. Чистый свет мира и простое сверкание вещей соизмеряют их средину, их раз-личие.

Третья строфа зовет мир и вещи в самой их сердцевине. Их стык друг с другом – есть боль.

Третья строка соединяет имя вещей и имя мира. Так, третья строфа зовет первоначально, исходя из собственного имени, которое зовет различие таким образом, что оставляет его неназванным. Первоначальный зов, называющий сердцевину вещи и мира, есть собственно имя. Это имя есть сущность говорения. В говоре поэта пребывает язык. Это язык языка. Язык говорит. Он говорит тем, что называемое мир-вещь и вещь-мир, зовет в средину раз-личия. То, что так названо, есть призыв к прибытию сюда из раз-личия. Это мыслится здесь в смысле старинного слова "пребывать", которое вы знаем по молитве: "пребудут, господи, твои пути". В призванном именем пребывает таким

16

образом призыв раз-личия. Раз-личие успокаивает вещь вещей в мире миров. Раз-личие отстраняет вещи в покое средокрестия. Такое отстранение не уничтожает вещи. Оно освобождает их для пребывания в мире. В покое таится тишина⁴. Различие тишит вещи как вещи в мире.

Такая тишина случается только в той мере, в какой средо-крестие мира исполняет хранение вещей, в какой тишина вещей способна пребывать в мире. Раз-личие тишит двойственno. Оно тишит тем, что успокаивает вещи в благодати мира. Оно тишит тем, что заставляет мир довольствоваться вещами. В двойственной тишине различия собирается тишина.

Что есть тишина? Это ни в коем случае не есть только безмолвие. Последнее –

Хайдеггер Мартин Язык filosoff.org

застывшая немота тона и звука. Но немота не есть снятие оглашения, как не есть она сама собственно уже покоящееся. Немота остается лишь обратной стороной покоящегося. Немота сама покоится на покое. Сущность же покоя в том, что он тишит. Как тиши покой, строго говоря, всегда подвижнее всякого движения, ладнее всякого лада.

Двойственno тишит прежде всего само раз-личие: вещи в вещах и мир в мирах. Так тишась, вещь и пир не оскверняют раз-личия. Более того, они спасают его в тишине, ибо оно само является тишию.

Вещи и мир в их событии молчания зовут раз-личие мира и вещи в центре их сердечности. Различие - это призывающее. Различие собирается из двух тем, что оно зовет разрывом, который есть само различие. Собирающий зов и есть говор, звучание. Последнее есть нечто иное, чем простое производство и распространение звуков.

Если раз-личие пира и вещи собирает сердечность в простоте боли, то оно дает название сущности двух. Раз-личие есть призыв, глас которого призывает того, кто его слышит. Призыв раз-личия собирает в себе все глашающее. То, что собирается гласом при собирающем гласе, есть звучание как звон.

Зов различия есть двойная тишина. Собирающий глас, призыв, в котором звучит различие мира и вещи, есть звон тиши. Язык говорит тем, что призыв раз-личия мира и вещи зовет в простоту их сердечности.

17

Язык говорит, как звон тиши 5. Тиши тишит тем, что она носит мир и вещи в их сущности. Брэнность мира и вещи в мелодии тишины есть событие раз-личия. Язык, звон тиши осуществляется в раз-личии. Язык бытует как сбывающееся раз-личие мира и вещи.

Звон тиши - это не человеческое. Человеческое, напротив, по своей сути говорливо. Названное здесь слово "говорливый" происходит из говора языка. Это такое событие, человеческая сущность, которая находит себя в языке таким образом, что раскрывается сущность языка - звон тиши. Такое событие сбывается постольку, поскольку сущность языка, звон тиши, использует говор смертных для того, чтобы для слуха смертных зазвучал звон тиши. Только в силу того, что люди вслушиваются в звон тиши, могут смертные говорить своей собственной мелодией.

Говор смертных - это называющий зов, глас мира и вещей, исходящий из простоты раз-личия. Чистый призыв говора смертных есть говорящее поэзии. Собственно поэзия не является чем-то более высоким по своей мелодии по сравнению с повседневным языком. Более того, повседневная речь содержит такое забытое и потому используемое поэзией, из которого еще может раздаться клич.

Противоположностью чистому говору, поэзии является не проза. Чистая проза не "прозаична". Она также поэтична и поэтому также редка, как и поэзия.

Если сосредоточить внимание исключительно на человеческом разговоре, посчитать произнесение звуков за сущность человека, принять такое представление о языке за сам язык, то суть языка окажется сведенной к выражению или к деятельности человека. Человеческий язык в отличие от языка смертных не покоится в себе. Только разговор смертных покоится на отношении к говору языка.

В свое время неизбежно приходится задуматься о том, каким образом в говоре языка как звоне тиши раз-личия сбывается смертный разговор и его оглашение. В оглашении, будь то речь или письмо, нарушается тиши. На что ломается звон тиши?

18

Как осуществляется сломанная тишина в гласе слова? Как запечатлена нарушенная тиши в речи смертных, которая звучит в строках и предложениях?

Если бы благодаря удаче мысль смогла ответить на эти вопросы, то можно было бы надеяться отыскать звук и даже выражение для элемента, служащего мерилом человеческого говора. Исполнением человеческого говора может быть только

Хайдеггер Мартин Язык filosoff.org
мелодия, в которой благодаря призыву раз-личия собираются говор языка, звон
тиши раз-личия, смертные.

Способ, мелодия, которой смертные зовут из различия оттуда и говорят сюда, есть: соответствие. Речь смертных должна прежде всего услышать призыв, каким тишия различия мира и вещи взывает в просвете своей простоты. Любое слово смертных говорит, исходя из этого слуха и как таковое.

Смертные говорят постольку, поскольку они слышат. Они внимают зовущему зову тишия различия, даже если не знают его. Слух воспринимает призыв различия, который несет звучащее слово. Слышаще-воспринимающий разговор есть со-ответствие.

Тем, что речь смертных своим говорящим воспринимает призыв различия, она следует мелодии призыва. Соответствие, как слушающее восприятие, есть одновременно ответ признания. Смертные говорят постольку, поскольку исполняют двойную мелодию вести и ответа. Слово смертных говорит тем, что оно в многообразных смыслах со-ответствует.

Всякое подлинное слушание опирается на сказанное в себе. Благодаря тому, что слушание удерживается слухом, пребывает звон тиши. Все соответствие согласовано этой в себе покоящейся сдержанностью. Поэтому такая сдержанность необходимое условие того, чтобы слушающий был готов воспринять призыв, различия. Эта сдержанность должна быть соблюдена не только по-слушанию, но и при-слушиванием к звуку тиши, предполагающим внимание к ее призыву.

Внимательность сдержанности определяет мелодию, которой смертные соответствуют раз-личию. Этой мелодией живут, обитают смертные в говоре языка.

Язык говорит. Его говор приглашает раз-личие, которое выявляет мир и вещи в простоте их сердечности.

19

Язык говорит.

Человек говорит постольку, поскольку он соответствует языку. Соответствие есть слушание. Слышат постольку, поскольку слушают призывы тиши.

Здесь не предлагается какое-то новое воззрение на язык. Все написанное направлено лишь на то, чтобы научить жить в говоре языка. Для этого необходимо постоянно проверять, можем ли мы и насколько следовать основе соответствия, быть внимательным к сдержанности. Так как: человек говорит только тогда, когда он соответствует языку. Язык говорит. Его говор говорит для нас сказанным:

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Если снег за окном идет,
К вечерней колокол сзывает,
У многих стол уж накрывают
И дом в порядок приведен.
Иной странствовать уходит
За дверь на темную стезю.
Тай золотятся деревья милостью
Из земли сочащегося духа.
Странник тихо ступает;
Болью окаменел порог.
Тут в сверкающем чертоге

На столе вино и хлеб.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Sprache spricht*. Перевод нуждается в точке опоры, но ее нет и переводчик проваливается в бездну. Если Sprache переводить как "язык", то целое выражение будет означать "язык языческий", а цепь дальнейших построений Хайдеггера развернется: язык, я-зык, зык, зов. Но возможности такой развертки на русском языке невелики, в силу того что она перекрывается "говором" как более поздним образованием. В этом случае, строго говоря, Sprache следует переводить как "говор" и тогда все предложение как: "говор говорит". Возможны и другие ходы: сказ, сказывать, казать; глагол, глаголить, гласить, голосить; весть, вещать, ведать, вещее, вещь. Конечно, можно возразить, что все эти переводы будут противоречить общепринятым Sprache - язык, но как раз наличие такой "архимедовской точки опоры" и вызывает сомнение не только в физике, но и в лингвистике. Предлагаемый перевод является компромиссным, зато пригодным для понимания и переходным для более радикальных русскоязычных аналогов хайдеггеровских текстов.

2. *Ruf* и *Rip*, *Ru?* – зов, выкрик; *Rip* – щель, дыра, разрыв, раскол. *Ruf* переводится: "зов", так как первоначально значение слова раскрывается через призыв, влекущий далекое к близкому, звучащий "оттуда" "сюда". *Rip* переводится здесь как разрыв, так как оно сближается с зовом и призывом.

Ruf и *Rip* – центральные понятия хайдеггеровской философии языка, которая учитывает как звуковой, так и зрительный ряды. При этом речь идет не об ассоциациях и дополнительных прагматических нагрузках, которые несут звук и изображение языка, а о самой сути языка, укорененном в бытие своим звучанием – зовом и прерывистым "ландшафтом" – видом, щелью, тишиною. Выбор перевода данных терминов, как кажется, должен учитывать и то обстоятельство, что в данной работе Хайдеггер осуществляет пластичный переход от "звучка" к "виду". Поэтому при переводе *Ruf* как крик, клич, *Rip* следует переводить как рана, щель, ров, черта.

3. *Vierung* и *Geviert*. *Vierung* – средокрестие, свод воедино четырех сторон покрытия, крыши. *Geviert* – скрещенность, квадрат, четверка. В немецком языке оказалась очень богатая семантика четверки, столь же развитая как в русском "троице". Видимо, это связано с сохранением дохристианской символики креста, как единства вертикального и горизонтального рядов. Поэтому понимание перевода *Geviert* как скрещенности не следует развивать на основе христианского символа креста, крещения и т.д. В работе "К вопросу о бытии" Хайдеггер предлагает для изображения простого единства четырех бытия следующее написание: *Sein*. При этом он специально подчеркивает, что речь идет не о перечеркивании, а перекрещении, перекрестье.

4. *Ruhe* и *Stille*. *Stille* – тишина, безмолвие, молчание, скрытое, тайное. *Ruhe* – покой, неподвижность, тишина, мир. Таким образом, по словарю эти совершенно по разному звучащие слова наделяются одинаковым значением. Видимо, суть *Ruhe* близкая *Ruf* и *Rip*, следовательно, речь идет о "покое" как простом, спокойном единстве четырех.

5. *Gelaut der Stille* переведено как звон тишины, поскольку *Lautet* характеризует звук колокола в стихотворении Тракля.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!